

Олег Павлович, заканчиваются 90-е годы, ставшие для всех нас эпохой социальных изменений, мировоззренческой ломки. От человека теперь требуется быть буржуазным, уметь продавать свой труд, находить работу, все время меняться. Кто-то нашел себя в новых социальных условиях, кто-то — нет. Ваше отношение к такому времени?

— Я был готов к этому в большей степени, чем многие мои коллеги. Вызвано это тем, что я с 1975 года работал за границей, ставил спектакли, снимался, зарабатывал деньги на жизнь и волей-неволей должен был учитывать законы, по которым течет жизнь в западном обществе. Я довольно рано понял, что должен выполнять сроки, укладываться в сметы, находить компромиссы или так называемый консенсус. Я, а никто другой — не начальник мой, не, так сказать, бог в машине, а именно — я. Многие мои коллеги до сих пор пребывают в социалистическом пространстве века и плывут как глупые бревна по течению.

— Проблема «человек и деньги» в России имеет какие-то национальные особенности, или это выдумки наших литературных классиков, что где-то в глубине души русский человек презирает богатство?

— Да, это проблема больше для людей пишущих или людей кокетничающих. Один мой дед — был очень богатым человеком, владельцем огромного имения, другой дед — был слесарем — золотые руки и алкоголиком. И особой разницы в их философии обращения с деньгами я не усматриваю. В конечном итоге дело упирается в то — зачем жить. Это вопрос очень сложный. И, я думаю, процентов девяносто себе на этот вопрос не отвечают, и деньги в этом вопросе «зачем жить» — занимают очень скромное место, свое реальное, но повторяю, скромное место.

— Есть такой предрассудок в культурологии, что высокое элитарное искусство не рентабельно по определению. Ваш театр «Табакерка» — счастливое исключение или опровержение этой догмы?

— Я могу вам на это возразить. МХАТ в начале пути своего, МХАТ начала века, сто лет тому назад, наверное, в этой системе критериев был элитарным искусством. Но человек нормальный, простой и даже, как говорила моя бабушка-украинка, «тёмный да малограмотный» — он все равно обливался слезами над вымыслом. И спустя примерно полвека, в 1952 году я тоже «тёмный да малограмотный» мальчишка из Саратова, успешно выступающий в художественной самостоятельности, был привезен во МХАТ. И на спектакле сидел на ступеньках второго яруса и «описал пол слезами», глядя на пьесу Чехова «Три сестры». Ну, какое это ко мне отношение имело: они все говорили — «В Москву, в Москву, в Москву...» И были уже актрисы немолодые, вываливающиеся из туалетов, и мужчины были не первой свежести.

Но, Господи, да какой же степени это было все про меня. Элитарное это искусство? Ну да — если под элитарным искусством иметь в виду постижение души человеческой, постижение сложности бытия человека и умение сложно и противоречиво выражать это, воспроизводя живую жизнь философского духа вот здесь, сейчас, передо мной. Вот ведь что трогает. Не элементарность, не бульварность читая, а непрерывность сравнения моего м-а-а-ленького жизненного эмоционального опыта с огромным космосом жизнен-

ного эмоционального опыта театра.

Сказать про себя, что мы такой же совершенный театр, как МХАТ? Но это я был бы дураком, если бы такое сказал. Однако же существуют рейтинги. Вот по рейтингу, по зрительскому спросу мы в Москве третий театр после Большого и Ленкома (*лукаво улыбувшись и подмигнув*), но недалеко от Ленкома и кое-где, я бы даже сказал, наступаем ему на пятки. Здесь же очень близко театр «Сатирикон» Константина Райкина. Вот задумайтесь: в чем тут дело? Что это такое? И когда серьезные люди говорят о коммерциализации театра, о буржуазности — это они дела-

— Олег Павлович, а мастерство актера позволяет вам хорошо разбираться в людях? Бывает так, что вот вы смотрите на незнакомого человека и угадываете его тайные мысли, движения души?

— Это нормально. Это как хороший терапевт, беря вашу руку, и прощупав пульс, и ощутив влажность ладони и поверхность кожного покрова, состояние ногтей, весьма многое может о вас сказать.

Для человека, который открыт и который хочет понять другого, — очень много возможностей для понимания. Другое дело, что не всегда хотят понять, а еще больше — врут много. А когда врешь

понятий. Мы — проходимцы в этом мире. У меня много недостатков. Но я с десяти лет знаю, что бабушка Оля лежит на саратовском кладбище недалеко от Николая Гавриловича Чернышевского, и я бываю у нее и у отца, у дяди, у Женьки — моего сводного брата. Оттого мне живется устойчивой (знаете, есть такое понятие устойчивости — это у яхты киль плавают, чтобы она не колебалась)...

Я настолько это серьезно воспринимаю, что даже установил специальный день раз в месяц — день поминовения. День, когда я вспоминаю того, кто уже ушел из этой жизни.

Олег ТАБАКОВ:

*Неделя Новая газета,
— 1999, — 6-12 сент. — с. 15*

МЫ — ПРОХОДИМЦЫ В ЭТОМ МИРЕ



Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ

Два самых народных персонажа Олега Павловича Табакова — это Илья Ильич Обломов и кот Матроскин. Вот уж воистину «гений — парадоксов друг». Трудно представить себе более противоположные образы — созерцательного помещика и оборотистого фермера. Художественное обаяние этих персонажей такое сильное, что зритель невольно отождествляет актера и его героев. Вот и я, собираясь брать интервью, ловила себя на мысли, что готовлю вопросы не столько Олегу Павловичу, сколько его «ипостасям»...

ют, просто не разобравшись, я так думаю. Удобными, имеющимися под рукой клише хотят, так сказать, закрыть проблему. Но это глупо. Помните, как у Пушкина: «Пора, пора вам быть умней!»

— У «Табакерки» такой звездный состав (Евгений Миронов, Машков, Безруков, Зудина). Чему вы учитесь у своих учеников?

— Сказать, что они меня учат чему-то, — это было бы кокетством. (*На секунду задумывается.*) Хотя учат тоже. Компромиссам, по части которых они мастера — выдающиеся. Я иногда думаю: не сдать ли мне их в Министрство иностранных дел. (*Смеется.*)

— А компромиссы — вы имеете в виду житейские или компромиссы в искусстве?

— Я думаю, что все это переплетено. Только когда употребляется это слово «искусство», я сразу внутренне скукоживаюсь. Это все равно что говорить о счастье или отвечать на вопрос: «Скажите, вы — счастливый человек?» Человек говорит: «Да». И у него на лбу выступает огненными буквами: «ДУР-А-А-А-К».

много, много запоминать надо...

— В наше смутное время, когда национальной идеей стал лозунг: «воруют все», — остались ли у нас люди, у которых, что называется, болит душа о России?

— Конечно, остались. Только у кого душа болит, они об этом не кричат. Я вижу, что у Солженицина — душа болит. И у Лихачева, и у Сережи Аверинцева болит. И у Виктора Петровича Астафьева болит. Но они не говорят. Я был у Виктора Петровича полгода назад, и хотя мы ни слова не сказали на эту тему, а просто выпивали, я это знаю.

— Удастся ли вам заниматься чем-нибудь, кроме театра?

— Я стараюсь это делать по возможности регулярно. Вот ближайший выезд на природу — на кладбище, где мать лежит и вторая моя мать — Марья Николаевна, она была соседкой в коммунальной квартире. И лежат на кладбище в Долгопрудном.

Вообще мне представляется очень важным наша связь с теми, кто ушел, и многие наши беды от забвения этих

— Однажды во МХАТе после спектакля «Амадей» я видела, как к вам подходили зрители, благодарили за игру, за образ Антонио Сальери, а потом переводили разговор на вашего Обломова, как бы отождествляя вас с вашим героем. Но в реальной жизни вам почти не удается быть созерцательным, как ваш герой? Больше приходится быть Штольцем?

— Я не могу по-другому жить. У меня на руках сто тридцать человек здесь, в театре, и двести десять студентов в школе-студии. И если я не отыщу среди своих друзей людей, которые будут платить им по пятьсот рублей стипендию, они будут голодать и, может быть, будут от этого хуже учиться. Господь дает каждому то испытание, которое он может снести. Стало быть, мне так дано и надо нести. А Обломов я или Штольц — это вопрос схоластический. Кто я? — это может быть в самом конце будет ясно...

— Спасибо, Олег Павлович, и дай вам Бог новых ролей.

— Новых ролей? (*Смеется.*) Это обязательно, можете не сомневаться.

● Татьяна МЕДВЕДЕВА

Олег Павлович, заканчиваются 90-е годы, ставшие для всех нас эпохой социальных изменений, мировоззренческой ломки. От человека теперь требуется быть буржуазным, уметь продавать свой труд, находить работу, все время меняться. Кто-то нашел себя в новых социальных условиях, кто-то — нет. Ваше отношение к такому времени?

— Я был готов к этому в большей степени, чем многие мои коллеги. Вызвано это тем, что я с 1975 года работал за границей, ставил спектакли, снимался, зарабатывал деньги на жизнь и волей-неволей должен был учитывать законы, по которым течет жизнь в западном обществе. Я довольно рано понял, что должен выполнять сроки, укладываться в сметы, находить компромиссы или так называемый консенсус. Я, а никто другой — не начальник мой, не, так сказать, бог в машине, а именно — я. Многие мои коллеги до сих пор пребывают в социалистическом пространстве века и плывут как глупые бревна по течению.

— Проблема «человек и деньги» в России имеет какие-то национальные особенности, или это выдумки наших литературных классиков, что где-то в глубине души русский человек презирает богатство?

— Да, это проблема больше для людей пишущих или людей кокетничающих. Один мой дед — был очень богатым человеком, владельцем огромного имения, другой дед — был слесарем — золотые руки и алкоголиком. И особой разницы в их философии обращения с деньгами я не усматриваю. В конечном итоге дело упирается в то — зачем жить. Это вопрос очень сложный. И, я думаю, процентов девяносто себе на этот вопрос не отвечают, и деньги в этом вопросе «зачем жить» — занимают очень скромное место, свое реальное, но повторяю, скромное место.

— Есть такой предрассудок в культурологии, что высокое элитарное искусство не рентабельно по определению. Ваш театр «Табакерка» — счастливое исключение или опровержение этой догмы?

— Я могу вам на это возразить. МХАТ в начале пути своего, МХАТ начала века, сто лет тому назад, наверное, в этой системе критериев был элитарным искусством. Но человек нормальный, простой и даже, как говорила моя бабушка-украинка, «тэмний да малограмотний» — он все равно обливается слезами над вымыслом. И спустя примерно полвека, в 1952 году я тоже «тэмний да малограмотний» мальчишка из Саратова, успешно выступающий в художественной самодеятельности, был привезен во МХАТ. И на спектакле сидел на ступеньках второго яруса и «описал пол слезами», глядя на пьесу Чехова «Три сестры». Ну, какое это ко мне отношение имело: они все говорили — «В Москву, в Москву, в Москву...» И были уже актрисы немолодые, вываливающиеся из туалетов, и мужчины были не первой свежести.

Но, Господи, да какой же степени это было все про меня. Элитарное это искусство? Ну да — если под элитарным искусством иметь в виду постижение души человеческой, постижение сложности бытия человека и умные сложно и противоречиво выражать это, воспроизводя живую жизнь человеческого духа вот здесь, сейчас, передо мной. Вот ведь что трогает. Не элементарность, не бульварность чтыва, а непрерывность сравнения моего м-а-а-ленького жизненно-го эмоционального опыта с огромным космосом жизнен-

ного эмоционального опыта театра.

Сказать про себя, что мы такой же совершенный театр, как МХАТ? Но это я был бы дураком, если бы такое сказал. Однако же существуют рейтинги. Вот по рейтингу, по зрительскому спросу мы в Москве третий театр после Большого и Ленкома (*лукаво улыбувшись и подмигнув*), но недалеко от Ленкома и кое-где, я бы даже сказал, наступаем ему на пятки. Здесь же очень близко театр «Сатирикон» Константина Райкина. Вот задумайтесь: в чем тут дело? Что это такое? И когда серьезные люди говорят о коммерциализации театра, о буржуазности — это они дела-

— Олег Павлович, а мастерство актера позволяет вам хорошо разбираться в людях? Бывает так, что вот вы смотрите на незнакомого человека и угадываете его тайные мысли, движения души?

— Это нормально. Это как хороший терапевт, беря вашу руку, и прощупав пульс, и ощутив влажность ладони и поверхность кожного покрова, состояние ногтей, весьма многое может о вас сказать.

Для человека, который открыт и который хочет понять другого, — очень много возможностей для понимания. Другое дело, что не всегда хотят понять, а еще больше — врут много. А когда врешь

понятий. Мы — проходимцы в этом мире. У меня много недостатков. Но я с десяти лет знаю, что бабушка Оля лежит на саратовском кладбище недалеко от Николая Гавриловича Чернышевского, и я бываю у нее и у отца, у дяди, у Женки — моего сводного брата. Оттого мне живется устойчивей (знаете, есть такое понятие устойчивости — это у яхты киль плавают, чтобы она не колебалась)...

Я настолько это серьезно воспринимаю, что даже установил специальный день раз в месяц — день поминовения. День, когда я вспоминаю того, кто уже ушел из этой жизни.

Олег ТАБАКОВ:

*Неделя Новая газета,
— 1999, — 6-12 сент. — с.15*

МЫ — ПРОХОДИМЦЫ В ЭТОМ МИРЕ



Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ

Два самых народных персонажа Олега Павловича Табакова — это Илья Ильич Обломов и кот Матроскин. Вот уж воистину «гений — парадоксов друг». Трудно представить себе более противоположные образы — созерцательного помещика и оборотистого фермера. Художественное обаяние этих персонажей такое сильное, что зритель невольно отождествляет актера и его героев. Вот и я, собираясь брать интервью, ловила себя на мысли, что готовлю вопросы не столько Олегу Павловичу, сколько его «ипостасям»...

ют, просто не разобравшись, я так думаю. Удобными, имеющимися под рукой клише хотят, так сказать, закрыть проблему. Но это глупо. Помните, как у Пушкина: «Пора, пора вам быть умней!»

— У «Табакерки» такой звездный состав (Евгений Миронов, Машков, Безруков, Зудина). Чему вы учитесь в своих учеников?

— Сказать, что они меня учат чему-то, — это было бы кокетством. (*На секунду задумываясь.*) Хотя учат тоже. Компромиссам, по части которых они мастера — выдающиеся. Я иногда думаю: не сдать ли мне их в Министерство иностранных дел. (*Смеется.*)

— А компромиссы — вы имеете в виду житейские или компромиссы в искусстве?

— Я думаю, что все это переплетено. Только когда употребляется это слово «искусство», я сразу внутренне скукоживаюсь. Это все равно что говорить о счастье или отвечать на вопрос: «Скажите, вы — счастливый человек?» Человек говорит: «Да». И у него на лбу выступает огненным буквами: «ДУР-А-А-А-К».

много, много запоминать надо...

— В наше смутное время, когда национальной идеей стал лозунг: «воруют все», — осталось ли у нас люди, у которых, что называется, болит душа о России?

— Конечно, остались. Только у кого душа болит, они об этом не кричат. Я вижу, что у Солженицина — душа болит. И у Лихачева, и у Сергея Аверинцева болит. И у Виктора Петровича Астафьева болит. Но они не говорят. Я был у Виктора Петровича полгода назад, и хотя мы ни слова не сказали на эту тему, а просто выпивали, я это знаю.

— Удастся ли вам заниматься чем-нибудь, кроме театра?

— Я стараюсь это делать по возможности регулярно. Вот ближайший выезд на природу — на кладбище, где мать лежит и вторая моя мать — Марья Николаевна, она была соседкой в коммунальной квартире. И лежат на кладбище в Долгопрудном.

Вообще мне представляется очень важным наша связь с теми, кто ушел, и многие наши беды от забвения этих

— Однажды во МХАТе после спектакля «Амадей» я видела, как к вам подходили зрители, благодарили за игру, за образ Антонио Сальери, а потом переводили разговор на вашего Обломова, как бы отождествляя вас с вашим героем. Но в реальной жизни вам почти не удается быть созерцательным, как ваш герой? Больше приходится быть Штольцем?

— Я не могу по-другому жить. У меня на руках сто тридцать человек здесь, в театре, и двести десять студентов в школе-студии. И если я не отыщу среди своих друзей людей, которые будут платить им по пятьсот рублей стипендию, они будут голодать и, может быть, будут от этого хуже учиться. Господь дает каждому то испытание, которое он может нести. Стало быть, мне так дано и надо нести. А Обломов я или Штольц — это вопрос схоластический. Кто я? — это может быть в самом конце будет ясно...

— Спасибо, Олег Павлович, и дай вам Бог новых ролей.

— Новых ролей? (*Смеется.*) Это обязательно, можете не сомневаться.